

A romantic night landscape featuring a large, full, golden-yellow moon in a dark blue sky. A dirt path winds through a field of wildflowers, including yellow daisies and pink blossoms. A large, leafy tree stands on the left, and another tree is on the right. The scene is illuminated by the moonlight, creating a soft, dreamy atmosphere.

Василий Оглоблин

Цена любви

Василий Оглоблин

Цена любви (Рассказы)

«Автор»

2025

Оглоблин В. Д.

Цена любви (Рассказы) / В. Д. Оглоблин — «Автор», 2025

Сборник рассказов представляет собой глубокое исследование человеческой души, раскрывающее темы любви, верности, чести и человеческого достоинства через призму драматических жизненных историй. В центре повествования — судьбы обычных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Произведения отличаются глубоким психологизмом, яркими образами и достоверным описанием быта. Автор мастерски создает атмосферу времени и места действия, погружая читателя в мир своих героев. Сборник будет интересен читателям, ценящим глубокую прозу о жизни простых людей, их проблемах и победах над обстоятельствами.

© Оглоблин В. Д., 2025

© Автор, 2025

Содержание

ЯРОЧКА	5
ЧАО, РОСОМАХА	16
ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Василий Оглоблин

Цена любви (Рассказы)

ЯРОЧКА

– А, падера-то, язви её в печенки, все шары законопатила, – обабки-пки, – вместо обычного приветствия пробурчал дед Обабок, сметая рукавицами снег с пимов и полушубка, – светопреставленье, думал, что и до школы не потраплю, заблужаю...

– Садись поближе к печке, погрейся, советует ему Сергей Васильевич и продолжает проверять ученические тетради, высокой стопкой лежавшие перед ним на столе.

Учитель с дедом Обабком друзья и давно на "ты", хотя дед Обабок старше Сергея Васильевича в три с лишним раза. Настольная лампа бросает яркий сноп света на часть стола, в комнате полумрак, жидкие фиолетовые оттенки разбежались по заугольям и лица деда Обабка учителю не видно. Но он слышит, как дед натужно сопит и шмурыгает носом, стягивая с еще широких, по-молодому раскинутых плеч овчинный полушубок, устраивается у печки, открывает дверку, протягивает к огню озябшие руки, молчит. У них давно выработалось обоюдное согласие: когда Сергей Васильевич работает, то Обабок не мешает. Иной раз так, молча, они просиживают по часу и больше. Сергей Васильевич всегда бывает рад его приходу. По вечерам, когда в трубе протяжно и сиротливо воет ветер, а за окнами по дикому свистит метель, поскрипывают и жалобно постанывают стены старого дома, пустого и остуженного, одинокому учителю бывает невыносимо тоскливо, хоть волком вой. Глухая зауральская деревенька Кунгурка, занесенная снегами и завьюженная метелями, лежит оглушенно и молчаливо за окном. В семь часов вечера словно по команде гаснут один за другим желтые пугливые огоньки в окнах взброс раскиданных изб, и наваливается на безмолвную землю белесая мятущаяся темень и необычная, густая, словно притаившаяся тишина.

Молодой учитель первый год работает в этой захолустной, оторванной на сто пятьдесят вёрст от города и железной дороги деревеньке, и живет в маленькой комнатенке тут же, в школе, стоявшей на взлобке в окружении древних осин и берез, густо усыпанных черными грачиными гнездами. А если по пяти шатким ступенькам спуститься со школьного крыльца и скатиться со взлобка вниз, к речушке Кунгурке, то на самом ее сугорбистом берегу, окруженная высоким ивовым плетнем, притулилась овечья кошара, где дед Обабок караулит по ночам овец от лютых и отчаянных волчьих набегов, а волков развелось в последнее время по какой-то никому неведомой причине видимо-невидимо. И почти каждую ночь учитель с дедом Обабком, примолкнув, настороженно слушают их протяжный заунывный вой, навевающий на душу неизъяснимую жуткую тоску.

В комнате тепло и уютно. В печке, часто потрескивая, жарко горят сухие поленья. Со стен, озаряемых скудным светом настольной лампы и бликами падающими от горящей печки удивленно и чуть иронически посматривают с портретов, вырезанных учителем из журналов, красивые лица знаменитых кинозвезд, напоминая о какой-то другой и далекой жизни. Сергей Васильевич низко склонил голову над столом, его густые золотистые волосы падают ему на глаза, он небрежно откидывает их назад, приглаживает, дед Обабок, согрешившись, отодвигается подальше от огня, закуривает папиросу, затягивается часто и жадно. Жидкие струйки голубоватого дыма медленно плывут к раскрытой дверке печки и исчезают в пламени. Монотонно и с хрипотцой постукивают ходики, словно покашливают от натуги. Сергей Васильевич закрывает последнюю тетрадь, укладывает все их ровной стопочкой в углу стола и широко улыбаясь, поворачивается к деду.

– Ну вот, я и свободен. Здравствуй, дорогой.

– Здоров будь, сухо отвечает Обабок, но по его лицу, освещенному бликами огня, видно, что он доволен и рад поговорить. Дед любит отвести душу в дружеской беседе. Ты-то свободен, дак я, похоже, занят. Идти на пост надо.

– Воют? – прислушиваясь к дальнему волчьему вою, задумчиво произносит Сергей Васильевич.

– А воют, окаянные, погибели на них нету. Жди ночью набега. Погодка-то самая для них подходящая, падера-то, язви её в печенки, расходилась как сварливая женка, когда в чем-нито не потрафишь ей, метет, аж дух захватывает.

– Посиди еще, погрейся, чайку сейчас сообразим, чайком побалуемся, – советует Сергей Васильевич, время-то еще совсем раннее, не откажутся. Там, может быть поближе к полночи нагрянут. Как живем поживаем? Рассказывай.

– А живем. Торопимся все куда-то, один другого обгоняя, все спешим, все спешим, и не думаем, для чего ты есть и каково твое в жизни предназначенье, кому седни добро сделал, кому помог, кому руку по-братски протянул. Одно знаем лаяться да зло друг другу причинять. Прокоп вот, нынче, знаешь Прокопа-то? За мной живет. Изба на отшибе, над яром?

– Да, вроде, знаю. Рыжебородый такой, угрюмоватый?

– Он. Дак чо наделал изверг. Телку Анисьину в бок вилами пырнул за то, что она клок сена в стожку его щипнула, проходя мимо. Клок единый и вилами. Это как, по-человечески, по-людски? А? Анисья изревелась, дорезать пришлось телку-то. А корову ждали. Кормилицу. У Анисьи-то пятеро и мал мала меньше. Это как?

– Да, – соглашается Сергей Васильевич, – злой отчего-то народ стал. Сильно злой. Раньше люди по рассказам добрее были и совестливее.

– Вот то-то и оно. Али вот ходил вчера на ферму, племяша надо было повидать. Понагляделся. Коровыдохнут как мухи по осени. Стоит, стоит, сердешная около пустых кормушек, думает свои горемычные думы и упала. Ноги протянула. Это как?

– Кормов, Дмитрий Иванович, нет, не запасли на всю зиму.

– А отчего кормов нет? Коровушка, она не виновата, ее надо хорошо покормить.

– Год засушливый был, не заготовили.

– Для своей-то коровушки Прокоп заготовил корма с избытком.

– Ну, то для своей...

– Вот в этом, Васильевич, и вся беда наша. Мужик перестал быть хозяином на земле. Ему ничего не надо. Прослонялся день до вечера и айда домой, самогонку пить. Не хочет мужик работать. Лентяйничает мужик. А почему? Да потому, что надоело ему робить задарма, интересу у него к работе нету, охоты нету. А будь он хозяином на земле, он бы пуп рвал, знал, что на себя робит. Вернуть надо мужику землю, тогда и коровы падать не станут, вот те крест перестанут падать, ухоженные будут все и сытые. И корма появятся и изобилие всего будет. Я об этом часто думаю, и знаю, как надо ее решать продовольственную программу, да власти мне не дано. Мое дело овец охранять от волков... Мужику-землю, а земле – мужика

Сергей Васильевич уже знает, что дед Обабок прослыл в деревне за человека строгого и справедливого, о его доброте и бескорыстии, об искренней душевной тяге постоянно помогать кому-нибудь, прийти на помощь обиженному и слабому в деревне ходят легенды. Есть и другая слабость у деда – любит осмеивать, пересмешивать, потому, уважая деда, многие его и побаивались: больно остер на язык Обабок. Все знали и о его несколько необычной и туманной военной судьбе. Мать деда Обабка, покойная Матрена три раза получала на сына-моряка похоронки, три раза на всю деревню в голос оплакивала родного сыночка. Несколько раз даже таскалась и в стужу, и в слякоть в большое соседнее село, служила в церкви панихиды и в слякоть в по убиенному воину Митрию, а он возьмет и заявится как млад месяц жив-живёхонек, только зубы белые скалит в ответ на ее причитания. Спросит: "Митрий, откедова

ты появился?" "Из госпиталя, маманя, с капремонта, – ответит весело, – на четыре денечка, маманя, отпуск имею, ежели считать нонешний". Однако, после третьей похоронки, полученной Матреной уже на четвертом году войны, не объявился, умолк надолго. Тут уж Матрена потеряла всякую надежду: чудеса-то бывают раз, отсылы два раза, но не десять. Поплакала, заплакала, походила по ворожейкам и перестала ждать. А он и в третий раз явился на одиннадцатый год после окончания войны, уже в апреле пятьдесят шестого. И объявился не в бескозырке и широченных матросских клёшах, в каких приезжал в отпуск после госпиталей с полной грудью орденов и медалей, а в замызанной фуфаячке, растоптанных кирзовых сапогах и серой суконной шапке с одним ухом. Из лагеря, говорит, явился, с Колымы. Дик, говорят, был первое время после возвращения, дик, мрачен и в гневе страшен. А потом остепенился, жадно в работу ударился, семью большую поднял и в люди вывел, и работает до сих пор "овечьим заступником", хотя и тает у деда Обабок уже восьмой десяток.

– Говоришь, кому сегодня добро сделал, а день-то еще не кончился, может быть еще и сделаешь, – усмехнулся Сергей Васильевич, – все-то ты в философию ударяешься, давай о чем-нибудь попроще поговорим. За зайцами ходил?

– Откуда ноне возьмутся зайцы, когда волков звона сколько. Волк с зайцем в одном лесу не уживаются, – Обабок кряхтит, пристраивая в углу, за голландкой, свой аккуратно завязанный узелок с харчами, но поднимается легко, быстро, его седые и мохнатые, низко нависшие на глаза брови, взлетают. Он смотрит на учителя, о чем-то раздумывая, хмурится.

– Погляжу я на тебя, Васильич, и жалко мне тебя становится, по-отечески жалко, – дед Обабок сморщился, словно проглотил тухлое яйцо.

– Это отчего же меня жалко?

– И все-то ты один да один. Днем с ребяташками возишься, вечером с дедом Обабок. Ладно ли так-то? Молод ведь шибко, только жить да жить, а ты все с книжками да с ребяташками да вот с этими красотками на картинках, что на стенки поклеил. Живую бы тебе красоту-то надо заиметь, а не на картинке. А? Эх, парень, меня в твои-то годы баские девки любили. Ты поприглядишься получше, девушки в деревне есть, что твои изюминки. А то неладно как-то. Жизнь-то, она, брат, как ветер в поле – пролетел и нету, и следочка по себе не оставил.

– Все ладно, Дмитрий Иванович, мое от меня не уйдет.

– Знамо, не уйдет, дак время-то попусту терять не надо, не возвратится оно, прошел день и это уже навеки. Небось, в городу-то принцесса осталась?

– Была да сплыла.

– Пошто так?

– Да уж так надо.

– Тоскуешь, небось, по городской-то, вот и не глянутся наши деревенские-то. Ну, гляди, гляди. Ты, Васильич, слышь, не поспи, обабки-пки, грех в нонешнюю ночь спать, почитай пока книжку, а я, обабки-пки к овцам наведуюсь, погляжу, душа что-то тревожится, как бы беды не стряслось, лютые они, волки-то об эту пору, злые и отчаянные шибко. А опосля побеседуем, Новый год встретим, а он у меня дюже памятный...

– Сходи, погляди, а я почитаю.

– Вот, вот, почитай, погляди в свою книжку.

Дед Обабок берет в углу двустволку и заряжает оба ствола, застегивает на все пуговицы полушубок, поднимает воротник, бросает в угол к узелку рукавицы и уходит пружинистой враскачку морской походкой, раскидывая в стороны полусогнутые руки, высокий, сутуловатый.

Сергею Васильевичу слышно, как хрустко скрипят половицы и ступеньки на крыльце, слышно глуховатое покашливание деда, но скоро и эти слабые звуки всасывает, заглушает порывистый, неистовый вой пурги. Он подкладывает в печку пяток сухих березовых поленьев, задумчиво смотрит, как их начинает жадно лизать пламя, прислушивается, но воя не слышно,

только большой старый дом весь сотрясается под тугими ударами ветра, свистит на все голоса в трубах, и кажется, что в соседней большой классной комнате кто-то ходит тяжелой увалистой походкой.

Поленья ярко вспыхнули, обдав лицо жарким пламенем, Сергей Васильевич зажмурился, на какое-то мгновение увидел залитый яркими новогодними огнями большой шумный город, толпы по-праздничному нарядных людей на улицах, залиvistый смех, дребезжащие звонки трамваев, Юрко шмыгающие такси, красавицу елку на площади, весело улыбающееся лицо Марины в белой дубленке и белой соболиной шапочке. Вздрогнул. Открыл глаза. Обвел взглядом свою убогую комнатку с заваленным тетрадами и книгами столом, с рыжим пятном на потертой клеенке, с портретом Анны Герман над столом. Рассердился на себя за это мимолетное воспоминание. Подумал раздраженно:

"Сергей Васильевич, дорогой, ты же дал себе слово никогда не вспоминать Марину, ничего, ничего не вспоминать, вырвать все из памяти, словно никогда ничего не было. Принцесса не захотела расстаться с шумным городом, принцесса предпочла остаться в комфорте и тепле уютной четырехкомнатной папиной квартиры в центре города. Ну и пусть. Непонятно только одно: для чего же было идти учиться в пединститут, если не имеешь влечения и желания учить малышей, шла бы лучше тогда в торговый. Зато она никогда не узнает ни мудрого деда Обабка, любителя пофилософствовать о смысле жизни, ни школьной сторожихи Настасьи, знающей множество легенд и преданий, не услышит полуночного волчьего воя и таких древних языческих выюг, каких в городах никогда не бывает. Пусть, пусть остается оранжерейной красной розочкой в дорогой оправе из импортной белой дубленки и финских сапожек на высоком каблукке..."

Но коварная память ехидно подсовывала все новые и новые картинки. Он опять сел к печке, уставился на пламя и закрыл глаза. Сердце опять сладко-сладко заныло. Вот они идут с Мариной в новогоднюю ночь по шумной улице. Сыплет пушистый снежок. Завертывая извиваясь, облизывает асфальт позёмка, слепят брызжащие с уличных фонарей и новогодней иллюминации яркие огни. Из каждого окна доносится музыка, заполняя собою все вокруг, кажется, что она льется из невидимого белесого неба вместе с медленно падающим густыми хлопьями снегом. Он осторожно сметает эти снежные пушинки с Марининых плеч, с ее соболиной шапочки, а одну крупную пушинку бережно снимает с ее длинных ресниц, хочет показать ее марине, но снежинка тает в пальцах. Он с болью думает о том, а не растает ли скоро как эта пушистая снежинка и его счастье? Последний год учебы в институте, а там...

Марина благодарно улыбается ему и целует в мокрую холодную щеку, берет его за руку и они бегут, падают в сугробы, с хохотом поднимаются и снова бегут, молодые, счастливые, бегут в снежную круговерть, в тень густой липовой аллеи, задыхаются от смеха, и плотно прижавшись друг к другу, целуются, целуются...

А дед Обабок в это время, утопая по колено в снегу и чутко прислушиваясь как старый аист на страженье молодых аистят в гнезде, к каждому звуку, к каждому подозрительному шороху, неторопливо обходил кошару и думал о молодом учителе: "Такой статный, красивый, молодой, кровь с молоком, и такой затворник, не постриженный, а монах монахом. Что, ему девушки наши не глянутся? Огляделся бы вокруг получше. Пелену с глаз снял. Да в деревне нашей есть такие раскрасавицы, что и городских затмят. А он сидит в своей келье и носу никуда не высовывает, ни разу за все время и на девичьих посиделках не бывал..."

И вспомнилось ему то давнее уже время, когда был он еще не дедом Обабком, и даже не послевоенным мужиком Дмитрием, а молодым красивым парнем Митяем Зыряновым, еще задолго до службы на флоте, задолго до войны. Ах, какое это было время! Все как приснилось. Был он в ту пору не только видным среди парней веселым гармонистом, но и силачом на всю округу. Его пудовых кулаков побаивались мужики из всех окрестных деревень. Голоса его боялись. Только слышат, что Митяй идет – и в кусты, в тальнички-ельнички, обабкипки.

Зато как любили его девчонки. Как жадно целовали его по-девичьи алые губы и расчесывали нежными пальчиками его густые льняные кудри. Особенно памятни ему душисто-хмельные, голосистые июльские покосы в луговой пойме за Кунгуркой, не одна босоногая девчонка в те годы, тайком убегая от всевидящего родительского ока, от родного покосного шалаша приносила ему короткими июльскими ночками свою девичью нежность и безумные ласки, жаркие девичьи объятия и обжигающие поцелуи, и не одна осанистая ракита на крутом речном берегу, и не одна черемуховая заросль у самого водного среза реки были тайными свидетелями тех безумных любовных ночей под низкой луной.

И там, у нежаркого ночного костра, разведенного у входа в летний покосный балаган, пришла к нему впервые в жизни любовь, хмельная как выбродившая брага, сладкая как медовуха и отчего-то робкая, застенчивая. Полюбилась ему и его полюбила самая бойкая, самая остроглазая деревенская красавица Настюша. И теми лунными ночками на лугу поклялись они друг другу в любви и верности навеки. Только все, все поперепутала, поисковеркала жизнь. И та, самая дорогая и самая любимая, которую всех сильнее запомнила береговая черемуха, его невеста и его первая любовь давным-давно лежит под одинокой осиной на пригорюнившемся деревенском погосте. Не дождалась его невеста с войны, умерла, как сказывали люди от голода и тоски. В деревне, на земле, и от голода. И его Митяева жизнь по чьей-то злой воле вся пошла наперекосяк, все в ней изуродовано, все оплевано, все изгажено. Ах, молодость, молодость. как же быстро ты пролетела, словно пташечка залетная, пролетела и скрылась, растаяла. И все-то лучшие, все-то самые заветные годы, какие отпускаются человеку один раз на всю его жизнь, отняла война. Места целого на его богатырском теле не осталось от фашистских пуль, осколков и штыков. Но страшнее всех ран оказались раны душевные. Чего боялся всю войну – то и случилось: в плен фашистский попал. Почти за год, проведенный за колючей проволокой лагерей повидал он столько смертей, крови и ужасов, дикого фашистского изуверства, от которого до сих пор леденеет и содрогается его душа. Но еще страшнее и незаживаемее остались в душе раны, полученные на далекой дикой Колыме, где отрубил он нивесть за что почти одиннадцать лет. Грубо, несправедливо обошлась с ним жизнь, и как ни ворочай – все одно одна нога короче...

Дед Обабок, вспомнив незаслуженные обиды, вздрагивает, хмурится, сводит к переносью запорошенные снегом густые брови, сердито крикает от внезапно нахлынувших воспоминаний, крепче стискивает в руках заряженную пулями тулку-двустволку.

"И вроде коротка человеческая жизнь, – думает дед уныло, – а сколь ко всякой всячины увидишь и переживешь, обабки-пки, ужас как много всего, в три короба не уместишь. И выходит, что длинна она, окаянная жизнь наша земная..."

С Кунгурки под плетень с наречной стороны надуло такие высокие наметы, что вместо плетня из снега торчали только острые макушки кольев. Сухой, леденящий, спирающий дыхание ветер, обшарив выметенную до льда речку, под берегом дико взмывал вверх, бешеными порывами налетал на Обабка, остервенело трепал полы полушубка, сбивал с ног, засыпал лицо охапками больно секущего колючего снега. Дед поворачивался в заветренную сторону, бурчал: "С ног сбиват, проклятый. Вот так же и меня жизнь валила, сбивала с ног, а не смяла, выстоял, выдюжил, обабки-пки, не из таковских..."

В тальниках на том берегу, в застуженной снежной навеси, остро постреливали злые желтые огоньки, словно кто на ветру спички чиркал. Рыскали волки.

– Вот я вам, – погрозились дед Обабок, – убирайтесь-ка отселева по-доброму...

Хотел было выстрелить по огонькам, но передумал, пожалел заряд, да и не любил он стрелять впустую, в суметь, без ясно видимой цели. Потоптался, потоптался на месте и пошел назад. А когда обогнул кошару со стороны школы и стал снова спускаться по кособоку, по крутой, уже вымятой тропинке к берегу, услышал беспокойную возню, тревожное блеяние овец и острый запах присутствия зверя.

– Пролез, гад. Орудует. Так, так, так, ну, берегись!..

И только успел проговорить так, как увидел вымахнувшего из кошары огромного волка. Зверь, легко преодолевая высокие сугробы, сажеными бросками кинулся наутек, в заречные тальники. На широкой заснеженной спине болтался из стороны в сторону большой ягненок.

"Матерый. Должно, вожак", – подумал дед, прицелился в большую вытянутую вперед голову и выстрелил. Волк дико метнулся в сторону и выпустив из зубов жертву, торнулся головой в высокий снежный намёт. Обабок подбежал к убитому зверю. Задние ноги еще судорожно подрагивали. Снег вокруг головы быстро краснел. Ягненок был жив. Матерый ухватил его зубами за лодыжку, не успел порвать горла. Дед Обабок схватил ягненка на руки.

– Ярочка, милая, живая, обабки-пки, в волчьих зубах побывала и живая...

Он распахнул полы полушубка и прижал теплое, мелко дрожащее тело ягненка к груди, почувствовал, как обожгло горячим.

"Кровь, – мелькнула мысль, – срочно перевязать надо... Это дело нам знакомое. не впервой..."

Выстрелил из второго ствола в заречную сторону и потопал в школу.

"Теперь можно и посумерничать с Васильичем, и год новый встретить, – подумал облегченно, – уйдут варнаки, вожака ухлопал, а волки без вожака -те же овечки, убегают, небось, дай бог ноги..." И как бы в подтверждение его мыслей волчий вой, смертельно-пронзительный и безысходно-тоскливый стал удаляться и скоро оборвался, заглушенный воем метели. А она завывала и мела с неослабевающей силой. Полная луна изредка прорывала белые космы, показывала на миг свой бледный ознобленный лик и опять таяла в снежной наволоке, в холодной пронзающей светлыни низкого неба.

Взъерошенный, возбужденный, весь засыпанный снегом, дед Обабок ввалился вместе с клубами холодного воздуха в тесную, жарко натопленную комнатку учителя, распахнул полушубок и бережно уложил к печке, к теплу дрожащего ягненка.

– Вот, Васильич, и сделали доброе дело, – дед Обабок блаженно улыбался, показывая два гнилых зуба в заиндевелом рту и любовно поглаживая дрожащую ярочку, – вот, отбили, спасли, из волчьих зубов вырвали. У вожака, должно, глупая, в зубах-то была. матерого, видать, ухлопал, атамана. А стая без вожака не стая. Разбежались. Так-то, учитель, теперь надо ярочку спасать. Где-то

тут старуха четушку ставила для сугреву деду Обабку и для встречи нового года, вот мы сейчас рассёк-то водочкой и промоем, оно и загоится, как на собаке все заживет. Не шибко он ее впопыхах-то покалечил, не успел, спешил. Одюжает. Я ведь, Васильич, тоже бывал в волчьей пасти, а жив вот, восьмой десяток годочков землю топчу, обабки-пки. С одного выстрела уложил, в голову, только ножками бедный дрыгнул. Нам это, дружище, не в первой.

– Что-то слышал я одним ухом о твоей необычной судьбе. Люди говорили. Рассказал бы, как ты в волчьей пасти побывал. А?

– Э, Васильич, опосля как-нибудь расскажу. история эта длинная.

– И ночь длинная.

– Опосля, опосля.

Говоря все это, дед Обабок развязал узлов, разложил на газете свои харчи: две шаньги, луковицу, два сморщенных соленых огурчика, кусочек сала и небольшую краюшку черного хлеба, открыл чекушку с водкой. Ягненок потянулся к теплу, подергался и к великой радости деда Обабка нетвердо поднялся на дрожащие в коленях ноги, взмахнул хвостом. Из ран, оставленных волчьими зубами, на пол быстро закапала кровь.

– Вот и умничка. Вот и на ножки вспрыгнула. Сейчас маненько подлечимся и все заживет. Водочка – она дюже полезительная, от всех недугов полезительная, особливо хворь простудную прочь гонит. Это вот учитель ни хрена в ней не смыслит, дак ему простительно, молод он шибко, жизни не видал, не знает почем фунт лиха, поживет, помучится, дак всему научится. Ну-ка давай помоем волчью-то рану водочкой, да заодно и сами малость погреемся. Налить, Васильич, самую малость?

– Ты же знаешь, что я не принимаю. Душа не принимает.

– Душа, душа. Уж больно она у тебя нежная, душа твоя, такое добро не принимает. А мы с ярочкой примем с дорогим удовольствием.

Примем, волчья пленница? Ага, головой мотнула, значит, согласна. Вот и ладно. И я, Васильич, презираю пьяниц, энтих, которые толкутся у лавки и бормотуху за углом из горлышка лакают. Это уж не люди. Смотреть омерзительно. А отчего бы не погреть в эдакую вот падерную ночь нутришко получашечкой огненной водицы? Можно погреть и тело, и душу.

Дед Обабок взял от бачка с водой кружку, подул на нее и выцедил из чекушки водку.

– Как знашь, Васильич, как знашь, а мы зараз полечимся, – бурчал Обабок под нос, отрывая от полушалка, в котором были завернуты харчи, длинный лоскут. – Полечимся с ярочкой.

Смяв лоскут и обмакнув его в водку, он протер рану на лодыжке

у ярочки, она задрожала еще сильнее и жалобно заблеяла.

– Чо, больно? Ничо, ничо, терпи, страдалица, когда лечат, то завсегда больно, зато опосля полегшает. в госпиталях, бывало, от боли зубами скрежещешь, врача-хирурга матом семиэтажным кроешь, а он, бедолага, молчит и дело свое делает. Да, а потом, когда полегшает, стыдно становится, в глаза доктору взглянуть не смеешь, отворачиваешь рыло. Это уж оно так.

Промыв рану, дед как-то странно, чуть презрительно покосился на кружку, поморщился и вылил водку одним взмахом в рот, словно выплеснул.

– Вот и мы подлечим раны свои душевные как рассёк этот у ярочки, только раны на душе у деда Обабка рваные, неизлечимые... Ну да ладно. С новым годом, Васильич, погляди на часы-то. Двенадцать. С новым тебя счастьем!

– С новым годом, Дмитрий Иванович! Здоровья тебе.

Дед Обабок вдруг насупился, лицо его стало мрачным, даже злым. Что-то увидел он невидимое Сергею Васильевичу, вздрогнул всем телом как ярочка от этого видения и строго посмотрев на учителя, проскрипел незнакомым деревянным голосом.

– Ты вот что, Васильич, посиди покедова, почитай, а я погреюсь, на огонек погляжу, обабки-пки...

– Да, да, пожалуйста, посиди, погляди, немало удивившись в странной перемене в деде Обабе, смущенно и тихо проговорил Сергей Васильевич, отошел к столу и углубился в чтение.

– Посижу, на огонек погляжу, обабки-пки, об жизни подумаю. Вот проходит она у деда Обабка, истекает, скоро и в земелюшку...

Сергей Васильевич отложил в сторону книгу и вопросительно смотрел на деда Обаба.

– Аль историю одну рассказать тебе? Поди, самое время. Вот об эту же пору, в ночь под новый сорок пятый год дед Обабок расстрелян был...

– Как? Где? Расскажи, дружище.

– Невеселое это дело вспоминать, да ладно уж, расскажу. Вот посмотрел я сейчас на пламя в печке, а увидел вьюжную ночь, не такую как наша, а все же вьюжную, снег сверху сыпал, позёмочка погуливала, а нас пятьдесят два человека на расстрел вели. Далеко это было отсюда, под немецким городом Дортмундом. Не слыхал?

– Знаю. Есть такой город. В Вестфалии. Шахты, заводы, домны.

– Оно, оно, оно. Дак вот, поблизу от этого города пятьдесят два русских пленных расстреляны были в ночь под новый год. А как, за что, опять же к этому предисловию большую надо сделать, чтоб понятней тебе стало.

Сергей Васильевич насторожился, весь превратился в слух, чувствуя, что дед Обабок разговорится сейчас после чекушки и все, все расскажет ему. И он не ошибся. Дед Обабок закурил, затянулся дымом, пустил его в дверку печки и заговорил.

– Лет шестнадцати, семнадцати на охоту часто я ходил. Дичи у нас много. И вот однажды иду на озеринку, вижу утка плавает, я на брюхо и ползком, ползком к кусту. Дополз до куста, пристроился ловко, прицелился и выстрелил. Глядь, дробь кучно, кучно легла на то место, где утка плавала, а ее и в помине нет. Озадачило это меня. Ладно. Жду, что дальше будет. Рыкнула она и опять плавает быстро-быстро, хвостом крутит, меня дразнит. Я опять прицелился и выстрелил. Опять на том месте фонтанчики от дробин, а ее нет. Разозлило это меня. Ах, ты, думаю, дразнить меня, во все равно ухлопаю. и что же ты думал? Весь патронташ опорожнил, двадцать два раза выстрелил в нее, плюнул и ушел ни с чем. Прихожу, отцу рассказываю. Он хохочет. Дурачок, говорит, это была не утка, а гагара, есть такая птица болотная и озерная, она от выстрела уходит. Её только врасплох можно убить, а если уж она тебя заметила, ни в жизнь не убьешь, она успевает нырять до той поры, пока твои дробины долетят до того места, где она сидела.

Дак вот, Васильич, когда нас гнали той выужной ночью на расстрел, я думал об этой гагаре: попытаю счастья, унырну от пули.

– А за что же расстреливали вас?

– Опять же история длинная. В общем так: Митяй Зырянов попав в плен, не захотел работать на фашиста. Убегал. После третьего побега оказался я в интересном штрафном лагере Пройссен. Лагерь – не лагерь. Один барак, огороженный колючей проволокой, вокруг по углам четыре вышки. На вышках часовых нет. Ворота нараспашку. Чо оно такое? Повезли в ночь на работу. В Дортмунд. На сортировочную станцию Дортмунд-Эвинг. Работали башмачниками. Знаешь, что это такое?

– Догадываюсь. Багоны с горки катятся, а вы башмаки под колеса подставляете. Останавливаете.

– Верно. Дак вот, путей на станции полсотни или больше и по этим путям мы с башмачниками, вагоны встречаем. С нами два охранника с карабинами. Я подумал: вот откуда убежать-то, раз плюнуть. А никто не убегает. Что же оно, думаю, такое? И в ту же первую ночь раскрыл секрет: штрафники грабежом занимаются, а охранники караулят, чтобы жандармы или полиция не нагрянули. Понял? Шайка была разбойников, а во главе вроде Кудеяра был комендант этого лагеря-барака, гауптман, капитан по-нашему. Грабили безбожно. Все вагоны подряд за ночь-то обнюхаем. Пломбу сорвал и бери что хочешь. Ребята, ясно, кроме продуктов ничего не брали, колбас там, сала, коньяку, рису, муки, печенья, спирту. Зато комендант и охрана наживали себе миллионы. Подойдет грузовик, вагон муки выгрузим и скрылся в темноте. Один раз вагон хрому сплывили, вагон сукна, шерсти, сапог, мяса, консервов. Ребята все были мордастые, сытые. Одним словом, не житуха, а рай. Пьем вечером коньяк, ветчиной закусываем и комендант с нами, поет: "Вольга, Вольга, моттер Вольга".

Дед Обабок откашлялся, закурил, погладил по спине задремавшую ярочку, и продолжал.

– Так прожил я в этом штрафном лагере почти три месяца. Морду успел наест. Силенка прежняя в теле появилась. Но, однако же, всему бывает конец. Приехали мы однажды из ночной смены, поели плотно, выпили малость и завалились на нары спать. Вдруг как гром с ясного неба: "Ауфштеен!" Подъем значит. Сорвались. Сидим на нарах. А в бараке полиция. Обыск. Весь лагерь оцеплен эсэсовцами. Все! Хана. Почти все мы были одеты в шелковое парижское белье. на столе коньяк недопитый, консервы, хлеб белый, деликатесы там разные. Коменданту "браслеты" на руки, солдатам тоже. в машину. Я нас, гавриков, выстроили во дворе и шагом марш! Босых. В шелковом белье. Позёмка метет. Снег сверху сыплет. Новогодняя ночь, значит. Иду я и думаю: как бы умудриться на полсекунды упасть раньше, чем пуля в тебя прилетит, ведь гагара умеет же это делать. И когда густо брызнули огнем пулеметы, я уже лежал на

дне неглубокого ровика и на меня падали мои товарищи. Закопали комьями глины пополам со снегом. Лежу я, задыхаюсь. Начал выцарапываться из-под мертвых. Выцарапался и бегом в Дортмунд. Думаю, что только там мое спасение. Добежал до Эвинга, где каждый дом знаю, сховался в подвале разрушенного дома. По ночам стал ходить на охоту. Одежку себе раздобыл и пошел к своим, навстречу фронту. Потом одумался: куда я иду, надо идти в другую сторону, к американцам. И вскоре вышел на них. Воевал еще два с лишним месяца в американской пехоте. Фрица бил. Только он уже смиренный был как вот эта ярочка. Вот такая, брат, история.

– Да, история необыкновенная. Ну, а дальше. Что было дальше? Вы же, говорят, долго сидели. За что же осудили вас?

– Что ты выкать начал, Васильич?

– Язык не поворачивается после такого рассказа называть вас на "ты". Разница между нами Дмитрий Иванович, великая.

– Это ты, Васильич, брось. Не обижай старика.

– Ну, а что потом? Что дальше было?

– Хе, а потом, друг мой, многое было. Всего не расскажешь.

Не ослабевая бесилась пурга, стегая оконные стекла длинными снежными кнутами. В окно заглядывала низкая заколелая луна. На все лады высвистывал ветер в печных трубах, по-прежнему кто-то ходил тяжелой увалистой походкой в пустой классной комнате за стеной. Жарко пылали в печи, постреливая уголками, березовые поленья. А дед Обабок сидел, склонив седую голову и горестно подперев щеку ладонью широкой узловатой руки. На деревне уже горланили вторые петухи, по земле шагал новый год, и сквозь свист метели Сергею Васильевичу снова почудился жуткий волчий вой. Дед Обабок раскуривал новую папиросу. мелькнула мысль о марине: "Вот послушала бы глупенькая, такое не часто доводится слушать..."

Дед Обабок долго смотрел словно очумелый в одну точку, на огонь. Потом взгляд его остановился на ягненке, глаза оттаяли, весело залучились.

– Ну вот и ладно, глупенькая, задремала. выдюжишь. Овцой станешь. Будешь сама ярочек рожать, обабки-пки. Подсаживайся, Васильич, подвечеряем вместе, али уже позавтракаем. В новом же году позавтракаем. А? В четушечке трошки осталось еще. Допьем. За тот новый год выпьем, единственный за всю мою жизнь, который я чарочкой не встретил. А?

– Тот самый, когда расстреливали?

– Тот самый. Сорок пятый. Год нашей победы. А? Такой год чарочкой не встретил.

Дед ухмыльнулся в усы. Он вылил в кружку остаток водки из чекушки, долго смотрел на нее и опять как и в первый раз рывком выплеснул в рот.

– За тот, за сорок пятый, обабки-пки. Ну дак подвечеряем?

– Подвечерять охоты нет. Мне Настасья молока парного крынку приносила и калач еще теплый. Сыт. Лучше доскажи, что дальше было. Не мучай.

Обабок загадочно улыбался, отправляя в рот мелкие кусочки сала. огурчики и лук. И к великому изумлению Сергея Васильевича дед Обабок вдруг весь преобразился, повеселел и стал очень искусно изображать в лицах, словно играл в спектакле, рассказывая о том, что было у него дальше.

– Дальше, дальше. А дальше прибился я к своим. И сидел в лагерях на Колыме.

– За что же вас осудили? Вас, которого фашисты расстреливали?

– А за то, что лейтенантика из особого отдела, который меня допрашивал, сопляком назвал. Плюгавенький такой, весь перетянутый ремнями, талия как у девушки, на верхней губе пушок. На губах еще молоко материнское не обсохло. Карандашиком сидит поигрывает, глаза злые. Опричник сталинский.

– Ну, рассказывай, Дмитрий Зырянов, как ты опозорил честь русского моряка и в плен сдался?

– Это я-то в плен сдался?

– А кто? Не я же.

– Я в плен фашисту не давался, я попал в плен тяжело раненый, без чувства был, бес- сильный. Фашист уважал советских моряков, "черных дьяволов" потому и в плен взял.

– Это не имеет значения. Плен есть плен.

– Меня, Васильич, взорвало всего. Не любитель я шибко много разговоры разговаривать, а тут прорвало.

– Да знаешь ли ты, сопляк, – говорю я ему, – сколько отметин оставила война на моем теле? Да знаешь ли ты, как и каким я в плену оказался? А знаешь ли ты, что я фашистом был расстрелян? А сколь мук нечеловеческих перенес, чтобы прийти вот сюда и сесть перед тобой на табуреточку? Ничего ты не знаешь и знать не хочешь. А потому и не хочу я с тобой, щенком, разговаривать...

А он пишет, пишет что-то. Одну бумагу исписал, вторую начал. Я сижу, а он пишет. на меня ни разу больше не взглянул. Потом распрямился. Поглядел на меня змеенышем и вызвал автоматчика.

– Увести предателя.

– Ну и увели...

"Как безумно была обесценена при Сталине человеческая жизнь, – думал, слушая деда Обабка, Сергей Васильевич, – для каждого в отдельности одна единственная, неповторимая, она ломаного гроша не стоила, человек был что комар, мошка какая-нибудь. Ну, в войну это объяснимо: напали на нас фашисты, надо было их бить, землю родную, политую потом и кровью наших предков от фашистов защитить. И защитили. Разгромили фашистов. Не думали о том, что жизнь у каждого бесценна, одна. Миллионы стриженных мальчишеских голов в землю легли. Это все понятно. А после войны? Почему же так жестоко, бесчеловечно обращались с людьми после войны?.."

– Увести. А дальше? – не унимался Сергей Васильевич.

– А дальше что? Был Дмитрий Зырянов в плену. Этим у них, сталинских опричников все сказано. Дальше пошли тюрьмы, этапы, лагеря, Колыма. Много нас таких там было: генералы, полковники, и наш брат, матросня и солдатня. А Колыма гиблое место. Падера каждый день вот такая же как ныне, позлее только и мороз шестьдесят градусов. Рудник, Работа каторжная. Грязь кругом. Только вскоре стал я примечать, что среди отпетого люда, сорвиголов много было людей образованных, умных и мудрых. И показалось мне, что все самое образованное, честное и умное было там, на Колыме.

– А оно так и было, Дмитрий Иванович, в ту пору.

– Вот теперь, Васильич, и рассуди, кто с дедом Обабком поступил в его жизни по-человеческому, по-справедливому, по-божески? А? Фашисту я сделал зло. Урон и убыток великий нанес. Он меня расстрелял за это. А наши? За что осудили меня наши? За что мне всю жизнь испаскудили, растоптали? За то, что кровь свою горячую молодую проливал за русскую землю? Муки нечеловеческие в плену терпел? За это? Выходит, что за это. Другой вины за мной не было. Где же она, справедливость? А?.. Да ну его все к черту!

– Злой, наверное, был на весь белый свет?

– Нет, Васильич, нет. Не было во мне зла даже там, даже осужденном ни за грош, ни за копейку. Чего не было, того не было...

"Да, в сильной душе, которая много выстрадала, подумал Сергей Васильевич, нет места для зла, в ней живет одно добро. Такова уж русская натура, русский характер. Зло вьет гнездо в душонках пустых и хилых..."

– Всю свою жизнь, Васильич, если выбросить двадцать лет службы на флоте, войны и Колымы, я прожил на вот этой родной земле, в Кунгурке, поливал ее потом, робил как вол, и никому не сделал по сднйшний день зла. И не сделаю. И помирать стану – буду благословлять все живущее на добро и покой, и хочу, чтобы кости мои покоились в этой земле. Ну, друг

дорогой, однако же засиделись мы, петухи вон уже вторые пропели. Ложись-ка ты спать, а я пойду погуляю вокруг кашары. А ярочка пусть у тебя погостит до утра. Утром зоотехник заберет. Счастливых тебе новогодних снов, затворник.

– Заходите еще погреться. Я сплю крепко, меня не потревожите.

Он зарядил ружье, закурил папиросу, нахлобучил на глаза шапку и вышел.

Но Сергей Васильевич спать не лег. Он долго еще читал и отложив книгу, думал, посматривая на вздрагивающую во сне ярочку.

"В волчьих зубах побывала бедная, думал он, если бы не дед Обабок, все твои косточки пообглодали бы волки. А ведь он тоже, как и ярочка побывал в волчьих зубах, и был таким же беззащитным ягненком среди стаи хищных волков. Ягненок и волки. Как все в жизни бывает странно..."

До слуха опять доносился тоскующий волчий вой. Ярочка тихо постанывала, мелко подрагивая туго завитыми кудерками. Дед Обабок дважды заходил в коридор, грелся у печи, шмурыгая носом, вздыхая и покашливая, но в комнатку больше не заглянул. Совестьливый был старик и людям лишний раз не надоедал.

ЧАО, РОСОМАХА

Зимник от Ямбурга до Уренгоя, словно исполинская кобра, причудливо извиваясь, уползал в туманную даль. И ползти ему было далеко, ползти через полярную ночь, безлюдье, дикий мороз и мрак.

По зимнику широким размеренным шагом шел высокий молодой парень с рюкзаком за плечами. Его окладистая и длинная борода закуржевела. Закуржевели усы и брови. Человек изредка оглядывался, словно ждал кого-то быстро и настороженно метал взгляды по сторонам и снова смотрел в даль, на одинокий, тускло отливающий матовым отсветом зимник. А вокруг не было ни дерева, ни кустика, ни будыля, ни заблудившегося вдали случайного пугливого огонька. Только слышно было как жестяно скрипит по обмерзлым кочкам и превратившимся в плоские словно листья аира болотным тундровым осокам понизовый леденящий ветер. Над миром нависла и сковала его суровая заполярная ночь. Дикий холод. Сизый полумрак и ветер. Ледяной, спирающий дыхание ветер.

В руках у человека ничего не было, и он энергично размахивал ими в такт широким пружинистым шагом. Человек знал, что мороз сейчас около пестидесяти градусов, и его единственное спасение было в этом ровном, скором и непрерывном движении вперед. Ноги его гудели и больно ныли, но он не смел остановиться ни на секунду. Сколько он прошел – человек не знал: Вёрсты в этом диком заполярном краю не меряны, столбов с указателями нет. Он знал одно, что прошел уже много. Очень много. Об этом напоминали все чаще и все настойчивее зуд в ногах и острая боль в пояснице и плечах от тяжелого рюкзака. Он давно уже миновал развилку и втекающие как ручейки в широкий зимник неторные дороги от Приозерной и буровой нефтяников, он миновал поворот на пятую мехколонну, затерянную в тундре где-то тут, километрах в пятнадцати от зимника. На эту мехколонну он возлагал все свои надежды, когда отправлялся в путь: оттуда обязательно должны были идти машины на Уренгой. Но машин, сколько он ни шел, не было. Дорогу эту он знал, как свои пять пальцев, он строил ее: скоро должен появиться пятнадцатый мостоотряд, потом будет небольшой поседок газовиков Комарово. Но до них, судя по времени, которое он находился в пути, было еще далеко.

Над зимником, над необозримой тундрой, то поднимаясь ввысь, то медленно оседая, колыхалась снежная пыль, мелкая белая изморозь. И когда человек начинал долго вглядываться в ее движение, ему виделись причудливые миражи. То вдруг возникнет совсем рядом белокаменный город с широкими обсаженными липами бульварами, просторными площадями со сквериками, скамейками и фонтанами, то вдруг город мгновенно исчезнет, и он увидит вдалеке рассыпанные по склонам балочки белые хаты украинского села, где прошло его детство, с вековыми тополями и осокорями над тихими ставами. Он видит даже, как курится на шляху теплая пыль, поднятая налетевшим легким ветерком. То вдруг покажется ему причудливый горный ландшафт с дремучими лесами на склонах гор и белоснежными шапками на вершинах хребтов. И человек сразу же узнавал этот пейзаж по картинам Вашинджаганяна, которого очень любил. Тогда человек переставал всматриваться вдаль, глядел себе под ноги и миражи таяли, растворялись.

Человек идет уже сутки. И эти сутки кажутся ему бесконечными. электронные часы в кармане полушубка время отсчитывают точно: прошло двадцать три часа и пять минут с того времени, как он вышел из жарко натопленного коттеджа на пустующий вечерний зимник и пошел на Уренгой. Человек не спал уже тридцать восемь часов. Перед тем, как идти он отработал на строительстве моста двенадцать часов и вот почти сутки идет. Он давно потерял всякую надежду на то, что попадется попутная машина. Он надеялся только на себя и на запас своих сил. По его расчетам выходило, что даже если до самого Уренгоя на попадется ни одна

попутная машина и не подберет его, одинокого и замерзающего, у него достанет сил дойти до Уренгоя пешком, если мороз не будет крепчать. А это возможно. Тогда он просто замерзнет в пути. Превратится в сосульку. Спать ему совершенно не хотелось. Он вспомнил рассказы отца о том, что на фронте солдаты не спали по неделе и больше. И ничего, жили, ходили в атаки, воевали, били врага.

До его чуткого настороженного слуха долетел далекий, леденящий душу волчий вой. Он то замирал, проваливался куда-то, то с новой силой взмывал в глухое темное небо, протяжный, до кути тоскливый.

– На волков бы не напороться, прошептал он непослушными губами в обледенелую бороду, нет, они далеко, они сейчас охотятся за оленями, на зимнике им делать нечего, ничего они кроме своей гибели тут не найдут...

Сторожко всматриваясь в белесый мрак и чутко прислушиваясь к волчьему вое, он вдруг подумал о том, что, вероятно, зря затеял эту игру со смертью, надумал поднять тяжесть свыше своих сил, но решительно отбросил эту предательскую мысль. "Не малодушничай, а иди. Да осилит дорогу идущий", – подумал он и ускорил шаг.

А началось это путешествие по обмерзлой тундре так.

...Сергей проснулся в половине шестого утра. Откинул одеяло, выдохнул из себя облако белого пушистого пара. Потянулся и проговорил ни к кому не обращаясь, сам себе, проговорил твердо и решительно, словно приказал:

– На Землю! Сегодня же на Землю! Лететь на вертолете, ехать на попутках, идти пешком. Но на Землю!

– Шо ты там лопочешь? – проснулся его сосед по "бочке", напарник по работе и закадычный друг Серёга.

– А то, Серёга, лопочу, что я сегодня на Землю лечу.

– На чем? Пал Палыч объявлял вчера, что до двадцать девятого декабря машин на Землю не будет, вертолетов – тоже, – позёвывая, по-сонному рас тягивая слова, сообщил Серега.

– Знаю. Буду добираться на чем бог пошлет, даже пешком. Твердо обещал к новомуднему празднику быть дома.

Серега внимательно и долго смотрел на друга. Сказал мрачно.

– И чего ты всегда на рожон лезешь? Куда ты один, пешком, в такой свирепый холод? Шуточки выкидываешь? В такой мороз машины в рейс не выходят. А ты не машина, а человек.

– Не отговаривай. Отработаю двенадцать часов и подамся. В нарядах, кстати, бригадир нам по десять часов ставит, а ведь мы весь месяц работали по шестнадцать. А ну, прикинь, каждый день у каждого украсть по шесть часов, сколько это будет? Вот где производительность у Пал Палыча прыгает в гору! Вот где снижается себестоимость строительства. Кулик он, наш Пал Палыч. Мы вкалываем как черти, а он ордена хватает.

– Наш Пал Палыч тут царь и бог. Для него законов нет. Он у нас закон. С гнильцой он, с душинкой наш Пал Палыч. Он привык по старинке: где украдет, где припишет. Бегут люди от его произвола как волки от лесного пожара. Людей-то не обманешь.

– Бегут слабые. А надо не бежать, а положить конец произволу нал Палыча. Люди сейчас прозрели. Ладно, не будем об этом. Соберемся все после новогодних праздников тогда и поговорим. Вон шахтеры говорят свое веское рабочее слово.

– А я бы, Сергунь, в такую адскую холодину не отважился пускаться в такой дальний путь в одиночку, ведь конец декабря, самые холода. Зверье голодное вокруг. Топать пешком до Уренгоя триста двадцать километров одному, в тундре, это, извини меня, похоже на самоубийство.

– Доползем.

– Замерзнешь. Ведь на всем пути ни дерева, ни кустика, ни щепки захудалой, костерика не разведешь, не обогреешься.

– Не отговаривай, Серёга. Решено. Я своих решений не меняю.

– А стаи волков? – Попробовал припугнуть Серёга. – Они сейчас лютые, разорвут на клочья.

– А Серёгин нож?

Вчера вечером Серёга показал Сережке выменянный у ненца нож. Ну и нож! Чудо! Искусной ручной работы. С костяной ручкой. С таким ноком на белого медведя, на волка, на росомаху, да на любого зверя иди смело. Сергей покрутил нок в руках, попросил шутя: "Подари этот нок другу". Серёга глазом не моргнул. "Бери, – говорит, – для друга ничего не жалко". "Да нет, я пошутил. Такое сокровище и вдруг бери. Тебе он самому пригодится, среди хищных зверей живем..." "Бери, бери, твой". И теперь Сергей, рассмеявшись, напомнил об этом.

– А нож Серёгин для чего?

– Нападут стаей – в клочья разорвут, и дареный нож не поможет. Росомахи голодные, говорят ненцы, всюду шастают, а голодная росомаха часто на человека кидается. Хищник. И рассказывают ненцы, что попадаются такие крупные старые росомахи, чуть не с медведя. А они, гады, злые и коварные. Говорят, охотники, что ты идешь по ее следу, а она, хитрющая, по твоему за тобой крадется. Да, да, очень коварный зверь.

– Ладно, не пугай. Я ведь не ребенок букой меня пугать. Вставай. Уже скоро шесть.

– Встаю.

После этих слов Сергей решительно соскочил со своим узкой походной койки, аккуратно заправил ее, улыбнулся: "Надолго заправляю". Натянул на ноги унты и выглянул из "бочки" наружу. Дыхание сразу сперло,хватило. Над заполярной тундрой висела сизоватая мгла. Где-то тонко потрескивало, словно кто-то щепал лучины, лопалось от мороза дерево. Сергей взглянул на термометр. Столбик голубоватой жидкости стоял на отметке 54 градуса не нуля.

– Ф-ю-ю-ю-ю, – присвистнул Сергей. – Отработаю смену и подамся, пусть хоть камни с неба сыплются.

И юрко нырнул в "бочку".

– Ну шо там? Скики? – спросил Серега.

– Совсем немного. Пятьдесят четыре. Чуть-чуть побольше, чем на твоей батькивщине, в Золотоноше.

– О-го-го! То и на работу, мабуть, на пийдэмо.

– Пийдэмо, – передразнил его Сергей, тебе лишь бы вывалиться, хохол лядаций. Тихо. Ветра нет. Это только машины из гаража не выпускают, когда мороз за пятьдесят, а мы же не машины, а люди.

– Ото ж...

И чтобы не тратить на сборы время вечером, после работы, Сергей поспешно уложил свой рюкзак. Основательно обулся. Положил в боковой карман рюкзака теплые и широкие шерстяные портянки, на случай, если сильно замерзнут ноги, то в пути переобуться. Прочно приладил к широкому еще армейскому ремню подаренный Серёгой нок, уходя, подпояшет этим ремнем полушубок. Подергал рюкзак за лямки. Тяжелый. Набралось всего понемногу: сгущенка, мясные консервы, дома-то в Челябинске паршивая вареная колбаса "собачья радость" и та по талонам, и той нет, вот и приходится тащить домашним заполярные харчишки. С такой ношей не замерзнешь.

Слышно было как мороз со скрежетом и скрипом набивает на их "бочку" новые ледяные обручи. "Бочка" поскрипывала. Казалось, что она вот-вот не выдержит страшного сжатия и лопнет, рассыплется на клёпки как настоящая бочка. На тощеньком отрывном календаре, прикрученном в простенке между двух походных коек, торчало несколько листочков с загнутыми вниз углами. До нового года оставались считанные дни. Неделя.

– Думаю, что к вечеру потеплеет. Сколько можно морозу лютовать. Надо и совесть иметь. Доберусь. не такое в жизнишке своей короткой видывали.

– Я не советую. А ты как знаешь. Хозяин – барин... – обидчиво пробурчал Серёга и в отчаянии махнул рукой.

Начинался новый день. Слово "день" для заполярья было чисто символическим. По часам должен быть день, но над тундрой круглые сутки висела полярная ночь. Над бескрайними просторами стояло смутное белёсое предрассветье. Казалось, что вот-вот рассветает, но рассвета не было. Белесоватая полоска подрожала несколько минут в поднебье и на тундру снова опускалась мгла.

До отправки на работу на строительство моста через какую-то безымянную речушку, а их в тундре раскидано бесконечное множество, оставалось более часа и Сергей, не нарушая своих раз и навсегда заведенных правил и привычек, сделал утреннюю проминку – пробежал бегом пять километров туда, до небольшого круглого как блюдце озерца, и пять назад. Расстояние он вымерял точно: десять тысяч широких шагов. Прибежав, он несколько минут поиграл с двухпудовыми гириями, напрягнул мускулы рук гантелями, умылся, протер тело по пояс колючим, обжигающим снегом, оделся и пошел завтракать. Получая в окне выдачи из рук поварихи Зины, или Зинухи, как ее все звали в мостоотряде, суп, кашу и чай, Сергей весело подмигнул ей.

– До дому сегодня, Зинуха, завтра на завтрак не жди.

– Балуешь. На Уренгой за эти дни не будет ни вертолета, ни машин.

Как же ты?

– На попутках, Зинопчка, или пешечком.

– Не дури, парень. Триста-то двадцать километров пешечком?

– Подберет по пути кто-нибудь, а нет, так и на своих двоих добежим, чего нам, молодым, неженатым.

– Все вы только за порог и уже холостяки. По жинке, небось, до смерти соскучился?

– Холостяк я, Зинопчка. А по женщине, верно, соскучился. Холодно тут шибко, а погреть некому.

– Ой, какой зябкий.

– А что, и в самом деле замерз.

– Много вас тут, мерзнувших, всех не обогреешь.

Зинуха круто повернулась к плите, гордо понесла свою красивую голову с пышной прической. И как она эти прически тут делает – уму непостижимо. Сергей не уходил. Ждал, пока снова вернется.

– Чего тебе еще, Сереженька?

– Да чайку бы еще кружечку.

– На, бери.

Сдобная грудь ее поднялась высоко и опустилась. Зинуха вздохнула.

– Шутишь все. А ты не шути...

И виляя широкими бедрами и красиво изгибаясь тонкой талией, Зина несла уже завтрак следующему.

"Красивая бабенка, – подумал Сергей, провожая повариху глазами, – огонь девка и неприступная как тот утес на Волге, о котором в русской песне поется. Вот эта была бы женой верной до гробовой доски..."

Про Зинухину "историю" Сергей знал. Сама как-то вывернула душу наизнанку и все рассказала. Выговорилась. Человеку иногда бывает просто необходимо, просто нестерпимо перед кем-то выговориться, снять камень с души. От этого и мир окружающий становится светлее, и жить становится легче. Зина – москвичка. Ей двадцать пять лет. На своих именинах, на своем-то двадцатипятилетии, Зина и рассказала Сергею все. Почему именно ему кто знает. Ей, глу-

пенькой показалось, что двадцать пять, это уже так много, так много, что, кажется, и жизнь уже вся прошла. Они долго тогда сидели, уединившись, в уголочке, у печки, и Зина рассказывала, частенько вытирая платочком глаза. А за окнами ее коттеджика бесилась свирепая метель, коттеджик покачивался и подрагивал, и слышно было как ржavo скрипели широкие полозья, на которых он был установлен, скользя то взад, то вперед. Приехала Зина сюда, в заполярную тундру, не за романтикой, не из патриотизма обживать для России новые дикие края, и уж конечно не за длинными рублями, хотя и получала она здесь, работая поварихой, официанткой и кухонной рабочей в одном лице действительно прилично: полтысячи в месяц. Чистыми. К тому же в тепле и сыта. Не за этим приехала сюда москвичка Зина. Зинуху прибило сюда волной бурное житейское море, как прибывает к необитаемому островку сломленный бурей камыш или тростник. Пять лет она была счастливой, "самой счастливой женщиной в мире", по ее словам. Безумно любила мужа, молодого и как все утверждали, "подающего большие надежды ученого" кандидата технических наук, сама работала после окончания университета младшим научным сотрудником в том же научно-исследовательском институте, где и ее мук Евгений. Рос сынишка. Будущее рисовалось безоблачным. У них было уже все: небольшая, но уютная квартира, приобрели приличную мебель, создали домашний комфорт. В вещизм Зина никогда не ударялась, она была далека от этого, жили скромненько, но дружно и мило. Никаким ученым ее Евгений конечно не был. Уж она-то, его жена, знала лучше других, что никаких многообещающих надежд возлагать на ее Женечку было не только нельзя, но это было просто глупо. Кроме молодецкого форса и высокомерия у Евгения ничего не было. К своим тридцати семи годам он не только не сделал никакого научного открытия или хотя бы небольшого изобретения, но никогда их не сделает. Он был просто глуп для этого. При солидной протекции всякими правдами и неправдами ему помогли защитить диссертацию (человеку, мол, уже под сорок подкатывает, пора), вытащили за уши, сделали кандидатом наук. Именно сделали. и на этом все завершилось. Теперь он спокойно сидит в научно-исследовательском институте, протирает штаны за штанами, благо заграничные джинсы, до которых Женечка был большой охотник, протираются долго, шелестит какими-то бумажками, выработал важную походку, научился гордо и по-ученому носить лысую голову. Будущее обеспечено. Знала Зина все это и все же любила Евгения. Ведь бесталанных-то, безвольных, заблудившихся в жизни, не нашедших в ней ни в чем для себя достойного применения, любят еще сильнее, к простой земной женской любви здесь добавляется еще и острая жалость, сострадание, ведь любит же мать больше и нежнее, глубже и жертвеннее чем других детей сына слабого, сына уроды. Таким любила она своего Евгения, Женю, Женечку. Но в один осенний дождливый день счастье это рухнуло, развалилось как карточный домик. Ее ученый влюбился в другую, молоденькую, смазливую. Объяснения. Разрыв. Развод. Суд, по ее глубокому убеждению, тоже не без нажима влиятельных лиц, не без звонков поступил несправедливо и жестоко: присудил сына Вову оставить с отцом, мотивируя это тем, что отец более обеспеченный человек и тем, что глупый еще ребенок, приласканный и подкупленный, сказал на суде, что он хочет быть с милым папочкой. Знала Зина, что и здесь не обошлось без солидной руки, но поделаться ничего не могла. Доказать что-либо было трудно, да и вся жизнь у нас тогда была построена на правде сильной руки. Она в тот же день, бросив все, собрала в чемоданчик кое-какие необходимые на первое время вещишки, занесла муку в институт ключи от квартиры и, не сказав ему ни слова, села в такси и поехала в аэропорт. Ближайший самолет летел на Тюмень. Тюмень так Темень. Купила билет и улетела. В Тюмени пожила два дня в гостинице. Побродила по незнакомому северному городу. Позаглядывала на объявления. Зашла в несколько трестов и управлений. Предложили Сургут. Сургут так Сургут. Какая разница. В Сургуте места по специальности не оказалось. Остановилась на перекрестке. Задумалась. Народ в Сибири живет добрый, сердобольный. Один случайный человек, заметив ее растерянность, подошел, поговорил, посоветовал махнуть в Ямбург, там, мол, дела непочатый край, только обживается. Ямбург так Ямбург.

Незнакомое название очень понравилось: красивое Ямбург, чуть- чуть не Петербург. Выхлопотала пропуск: туда, в ту дикую глухомань еще и не всех пускают. Распросила как добраться. Села в вертолет, облегченно вздохнула, начинается новая необычная жизнь. И вот стала из младшего научного сотрудника старшей поварихой Зинухой в самом отдаленном заполярном мостоотряде. Почему старшей – не знала, ведь была одна и младших поварих не было. Ребята все как на подбор, все славные такие, сильные, на севере жиденские не приживаются. "Мой Женечка умер бы от страха в первый же день" – так закончила Зина свой рассказ, насмеявшись и наплакавшись досыта.

Вот такая у Зинухи история. В жизни часто так бывает: безоблачная счастливая полоса вдруг сменится полосой глубокой и сильной боли, равнодушия ко всему, обиды, мрачной опустошенности и безысходного горя, а душа человеческая хрупка, легко ранима, и трудно, ох, как трудно залечивает жизнь эти, один раз нанесенные недобрым, злым человеком раны. Вот и приехала лечить свою тоску и свою боль москвичка Зина в далекий Ямбург. Вместо оперы и балетов в Большом театре слушает по ночам волчий вой, вместо Арбата – густо натканные как попало неуклюжие "бочки", землянки и сараюхи, вместо приборов и пробирок – черпак с длинной ручкой. Даже радио и того нет. Лечит ли Зина свои раны? Кто знает? Чужая душа потёмки. Только на дверях небольшого коттеджика на широких санных полозьях, где она живет, висит грозное объявление, написанное на куске ватмана черным фломастером: Вход категорически запрещен!!!" Так и написано с тремя восклицательными знаками. А сверху какой-то шутник нарисовал углем череп с перечеркнувшими его двумя ломаными молниями. Мол, опасно для жизни. И кто ни пытался подбивать к Зинухе "клинья" даже сам бригадир Пал Палыч пробовал, все получали решительный отпор, всем от ворот поворот. Огонь баба и неприступна как утес. Недостигаема. В этом скоро все убедились и оставили гордычку и недотрогу в покое. На чужой каравай рот не разевай. Ко всем Зинуха одинаково добра, нежна и ласкова, всем мило улыбается, и все ей словно родные братья. Всех зовет то Сереженькой, то Пашенькой, то Васенькой, то Коленькой. Подразнит пошуткой с ума сводящей бравых и молодых монтажников, улыбнется каждому своим неотразимо притягательным взглядом, сверкнет жарким блеском горячих очей, все обещающих ни никому ничего не дающих, накормит всех досыта вкусной и жирной пищей. И бывайте здоровы, орлы. А пишу, надо отдать Зинухе должное, научный сотрудник готовить умеет не хуже шеф-повара в столичном ресторане. Вздохнут ребята тяжело, обругают про себя ослон вислоухим и размазней неизвестного им Женечку: "Такую завидную бабу, такую красавицу на кого-то променять..." да и разойдутся по своим "бочкам" давить ухо до следующей смены...

А когда Сергей, позавтракав, принес Зинухе пустые миски и кружки и поблагодарив ее, собрался уходить, она посмотрела на него долгим встревоженным взглядом и спросила серьезно, без обычной своей улыбочки.

- Ты, Сереженька, вшутку сказал это или всерьез?
- Всерьез, Зиновья, смену отработаю и в поход.
- Ой, гляди, парень, Зинухе опять станет больно, если ты не вернешься.
- Это что, Зиновья, правда?
- Правда, Сережа.

И глаза ее, всегда озорные и веселые подернулись вдруг печалью, стали больными и затуманенными, мутными даже какими-то, точно такими, какие у нее были тогда, когда она рассказывала ему о своей не сложившейся жизни.

- Ты это помни, Сережа...

Двенадцатичасовую смену на строительстве двухпролетного моста через какую-то безымянную и довольно широкую речку, напомнившую ему Тыдыотту. где он начинал свою работу в мостоотряде, Сергей проработал с огоньком и задором. Кувалда плясала в его руках, боль-

ших и сильных. Только против обыкновения он чаще посматривал на часы. Нетерпение его росло. Окончив смену, он наскоро поужинал. Народу в столовой было много, и он ни словом, ни взглядом не обменялся с Зинухой. Только уходя, с порога приветливо помахал ей рукой. Она кивком головы поманила его к себе, но он не вернулся, а пошел искать бригадира Пал Палыча, чтобы доложить ему о своем уходе. Было девять часов девять вечера, и он спешил, надеясь за ночь любыми путями добраться до Уренгоя, а там уже чем бог пошлет до Сургута, от него поезда ходят. Он не терял надежды на то, что обязательно попадется попутная малина, ведь по всей тундре разбросаны стоянки газиков и нефтяников.

Бригадира Пал Палыча Сергей нашел в коттедже механика. В небольшой комнатенке было жарко натоплено не то, что у них в "бочке", где по ночам температура опускается до нуля. Бригадир сидел в одной рубашке, широко распахнув ворот и выставив напоказ впалую, сильно волосатую грудь. На столе стояла высокая бутылка коньяка, две наполовину выпитые рюмки и большая круглая банка с китайской свиной тушенкой. Стискивая ладонями виски своей совершенно голой как арбуз рябой головы, Пал Палыч склонился за столом. Было смешно смотреть на него сбоку: из-за круглых как мячики щек совершенно не виден был его нос, маленький, приплюснутый. Пал Палыч играл с механиком в шахматы, пропуская время от времени по маленькой. Кивнув быстрый взгляд на вошедшего, Пал Палыч спросил строго.

– Тебе чего, Булатов?

– Потягиваете по маленькой? – усмехнулся Сергей. – А ведь у нас сухой закон. Нарушение.

– Не твоё дело. Чего тебе надо, спрашиваю?

– Пал Палыч, я сейчас отбываю домой. У меня сорок пять суток отгулов.

– Знаю.

– Ну так вот, я сейчас еду домой, в отгулы.

– Что? – не отрываясь от шахматной доски, переспросил бригадир.

– Двадцать пятого декабря, в двадцать один час монтажник вверенного вам мостоотряда Сергей Булатов уезжает домой. Теперь ясно?

– На чем?

– На попутке. На своих двоих.

– Силен.

– Какой есть. На силу, вроде, не обижаюсь.

Пал Палыч оторвался от шахмат, долго и мрачно, с нескрываемым любопытством, словно видел Сергея в первый раз, посмотрел на него, вновь устремил взгляд на фигуры. Долго молчал. Сергей переминался с ноги на ногу, в душе закипало зло. Но он сдерживал себя, грубить Пал Палычу было сейчас ни к чему. Пал Палыч допил рюмку, зацепил вилкой и отправил в рот большой кусок тушенки. Пережевывая, выдавил из себя глухо.

– Не возражаю. Только вот возьми бумагу и напиши мне заявление.

– О чем заявление? Я же в отгулы. У нас вахтовый метод и не к чему разводить писанину.

– Не рассуждай. Пиши о том, что уходишь. В отгулы. Я из-за тебя в тюрьму садиться не собираюсь. Пиши: такого-то числа, в столько-то часов, я, такой-то отбываю по собственному желанию домой. Ты откуда?

– Из Челябинска.

– Вот и пиши: домой, в Челябинск, в отгулы. Сколько на градуснике?

– Минус пятьдесят два.

– Во, во, пиши: на градуснике минус пятьдесят два.

– А это еще для чего?

– Пили, раз говорят.

– А вы, Пал Палыч, не того? Не под градусом? У вас не пятьдесят?

– Пока нет. Пиши, что говорят. Иначе – ни шагу.

– Да ведь я, Пал Палыч, у вас не милости прошу и не зэк я, не под конвоем, я только ставлю в известность. Как положено по закону.

– Пиши!

Пал Палыч снова до краев наполнил пузатые рюмки. Сергей приткнулся на углу тумбочки и написал заявление, поругиваясь про себя. Пал Палыч внимательно прочитал, закал листок бумаги под ладонью, долго думал, морща морщинистый и без того лоб, сделал ход.

– Мат, Петр Иванович.

– Что? – ничего не поняв, переспросил Сергей.

– Мат. Говорю не тебе, а Петру Ивановичу. Иди. Да назад приходи. Через сколько дней будешь?

– Новый год отпраздную дома, с семьей, и вернусь. Числа десятого января буду на месте.

– Лады. Можешь быть свободным.

– Еще хочу, Пал Палыч, напомнить вам, что вся бригада весь месяц до сегодняшнего дня работала ежедневно по шестнадцать часов ввиду срочности сдачи объекта. Не забудьте в нарядах правильно отразить, а то...

– Что "то"? – оборвал его Пал Палыч зло.

– А то, что вы частенько забываете и в нарядах по десять часов пишете, а этого вам никто не позволял и не позволит.

– Это не твоя забота. На это есть я.

– Я только напомнил, чтобы не забыли, а то...

– Что, Булатов то?

– А то, что Пал Палычу будет объявлена решительная борьба. Всей бригадой. Вот это и то. Нашим горбом зарабатывать себе славу мы больше, Пал Палыч, не позволим. И кульничать – тоже...

– Ну, валяй, валяй. Грамотные все стали...

Пал Палыч зло налил себе рюмку и сразмаху плеснул ее в рот. А когда Сергей выходил, то услышал сказанные Пал Палычем вроде бы тихо, но услышанные им слова.

– Отчаянные эти ребята Сергей и Серёга. Работают как звери. Все горит в руках. Но и пальца в рот не клади, откусят, гады. Ты бы вот, Петр Иванович, решился в такой дикий мороз пройти по зимнику? Пешочком? Один? А? Я уверен, что ни одной попутки от Уренгоя не будет. Куда к черту, через час шестьдесят будет с лисьим хвостиком, а он поперся...

Ответа Сергей не слышал. Он зло захлопнул тяжелую дверь, толсто обитую войлоком и тепловатой.

"Ребята-то в бригаде работают точно как звери, тридцать мостов за год построили, – подумал Сергей зло, это ты, Пал Палыч, верно сказал, вот только ты неизвестно почему обращаешься с ними тоже по-зверски. Славу себе добываешь, ордена хватаешь. Ребята для тебя не люди, а рабсила. Ничего, дойдет очередь и до тебя..."

И пока торопливо шел к своей "бочке" думал: "Свил ты, Пал Палыч, тут в заполярье, себе теплое гнездышко, высиживаешь в нем за бутылочкой коньяку и банкой китайской тушенки золотые яички тысячами, путем жульничества увеличиваешь производительность труда, снижаешь себестоимость строительства, в большие люди лезешь, думаешь, что далеко забрался, не достанут. Достанем. Не таким королям головы секут, а уж ты-то, тьфу, плюнуть и растереть..."

С этими мыслями Сергей зашел в свою "бочку". Выпил кружку, услужливо приготовленного Серёгой крепкого горячего чая, обнялся и расцеловался с другом, натянул на плечи лямки рюкзака, подпрыгнул два раза, чтобы рюкзак удобно и ловко уместился на его широченной спине и пошел на зимник.

Хотел зайти в коттеджик к Зинухе, попрощаться, но раздумал, все в их поселочке на виду, пойдут сплетни, суды и пересуды. Сначала идти было легко и тепло, даже жарко. Сергей расстегнул и распахнул полы полушубка. Но скоро мороз стал добираться и до рук и до ног.

Сергей туго перепоясался ремнем, застегнул все пуговицы, опустил уши шапки, туго завязал тесемки и пошел скорым размерянным солдатским шагом.

И вот уже почти сутки идет. И ни одной попутки. Ни одной живой души вокруг. Только мороз и бескрайняя чуть белесоватая тундра. Тундра и мороз.

В дальней дороге много думается и многое вспоминается. Думал и Сергей. Он светло и чисто думал о гордой и неприступной красавице Зинухе, потерпевшей в своей, совсем еще молодой жизни первое кораблекрушение. Думал, вспоминал ее улыбки, ее затуманенные глаза и верил, что Зина еще воскреснет. Зина еще найдет свое большое земное счастье. У Зины душа большая и светлая, и сердце у нее нежное, распахнутое людям, доброе и любвеобильное. И вся она чистая как родничок, бьющий из-под земли в лесном ключе. Жизнь не может, не имеет права обделять счастьем таких людей как Зина, жизнь должна и обязана оберегать таких людей и приносить им только добро и радость. Нет, нет, Зинуха, это все временно, жизнь твоя вся еще впереди, и счастье твое впереди. Жди терпеливо и дождешься. Как это сказано у Сираха? "Все, что приключается тебе, принимай охотно и в превратностях твоего унижения будь долготерпелив". Терпи, Зина.

Думал он и о Пал Палыче. Жалкое ничтожество. Заевшийся человек,

у которого давно нет ни совести, ни чести, ни простой человеческой порядочности. Весь он – ложь. Весь подлость. Не зря же он никогда не посмотрит прямо в глаза, вечно они у него бегают с предмета на предмет, глаза нечистой души. Этот не глуп, как Зинухин кандидат. Этот – умен. Дело свое хорошо знает. Но хитер и лицемерен, ловок и двуличен. И живет он по принципу: не делай никогда для другого то, что можешь сделать для себя. А принцип этот ловко вписывается в устои нашей сегодняшней жизни и потому Пал Палычи процветают. Вот так и живет на земле человек, преуспевает: рыло его в тресте на доске почета висит, правда с выцарапанными глазами, начальство о нем высокого мнения, в пример ставят, депутатом областного Совета избрали, орден недавно получил. Почет и слава. Я бы на его месте презирал бы себя, ненавидел лото, а он ходит самодовольный, важный, как индюк шаперится, только в глаза людям не смотрит...

А мороз все крепчал. Сергей весь закуржевел. Он несколько раз пытался дыханием оттаять и выцарапать лед из усов и бороды, но мгновенно мерзли руки и он бросал это бесполезное занятие. По времени это был вечер, закат солнца. А на закате морозы всегда крепчают. Встряхнулся, поёжился и ускорил шаг. И опять мысли вернулись к Пал Палычу: «И откуда они такие в нашей жизни берутся? Кто их пестует? И кто их воспитал, сделал такими? И почему все молчат? Ведь вся бригада знает о его проделках. Знает и молчит, не мешает кулику кульничать. Приучены наши люди молчать, не смеют правду в глаза сказать. А почему? А вот в этом-то "почему?" нелегко разобраться, мозги сломаешь. Скажи правду и загремишь, войдешь в немилость, в клеветники, в противники. А каждому жить хочется и хлеб жевать. В загоне у нас честные люди, зато простор подхалимам, карьеристам, приспособленцам. И сам Пал Палыч, ведь был и он, вероятно, парень как парень в свои двадцать, двадцать пять лет. Был таким же работягой, как и мы с Серегой. Почему же он в сорок лет, выбившись в начальство и положив к карман красную книжечку, стал барином, высокомерным, чопорным и нечестным. Кто сделал его дельцом и подлецом? Ведь он бесплоден духовно, он стал каким-то заведенным кем-то автоматом, дающим план, понижение, повышение. И все автоматически, по заданному режиму, без участия чувства и души. Душа у человека умерла, сгнила...»

Сергей почувствовал, как у него сильно начали мерзнуть ноги выше колен. Уже не мерзнут, а начинают отмерзать. Ледяной ветер задувал под полушубок и морозил тело. Он вспомнил о своих шерстяных портянках, взятых про запас. Он расстегнул боковой карман рокзака и вытянул их. Лихорадочно работая, через каждые две-три секунды отогревая руки, он плотно обмотал портянками ноги выше колен, туго перевязал тесемками, еще потуже перепоясался

ремнем. Ногам стало теплее. Но пока обвязывал ноги то чуть не отморозил руки. Теперь он быстрыми и энергичными сжимательными движениями грел их в меховых рукавицах.

– Ничего, не пропадем, утешал он себя, идти надо быстрее, на ходу не замерзну.

И вспомнился ему один, не очень давний случай. До мостоотряда он шесть лет работал в мурманском тралфлоте старшим матросом. Избороздил на разных сейнерах и траулерах все земные моря и океаны. Последний год он ходил на небольшом, но шустром рыболовецком траулере "Ковдор". Славная была посудина. Сколько ее борта видывали штормов и в Баренцевом море, и в Северной Атлантике! Однажды они вели промысел в окном океане, в районе Южной Георгии. На всю жизнь запомнил он тот промысел. С трюмами, набитыми отборнейшей рыбой, они шли в порт Грютвикен. Южный океан почти всегда штормит. Но тот шторм был особенным, бешеным каким-то. Гигантской силы и чудовищной высоты водяные валы с грохотом обрушивались на их небольшое суденышко. "Ковдор" метался словно скорлупка от ореха среди исполинских водяных валов, казалось, что вот-вот рухнет на него огромная гора взбесившейся и грохочущей воды и заплеснет, пустит ко дну. Но "Ковдор" каким-то чудом снова выныривал и вновь яростно, и бесстрашно встречал новый вал. Во время наката на судно одного из таких валов Сергея, выскочившего на палубу, слизнуло волной и вышвырнуло как пылинку, как перышко за борт в ледяную воду. До сих пор живет то первое, странное ощущение: ему показалось, что его опустили в огромный котел с кипящей ключом водой. Ребята бросили ему трос, он, к счастью, сразу же поймал его, вцепился в него мертвой хваткой замерзающих рук и выпарапался на борт. Буквально за секунды, пока он бежал до кубрика, все его тело покрылось толстым ледяным панцирем. Вспомнив этот случай, Сергей подумал: "Тут-то что, тут твердая земля под ногами, а там была бездна, бездонная пучина коварного и вечно лютого океана, царство Нептуна. Тут-то не пропадем..."

Вспомнив этот случай, Сергей полумал о том, что до сих пор живет в его душе море и будет жить всю его жизнь, это как первая любовь, раз и навсегда. Не расстался бы с ним никогда, да беда заставила. От частого употребления опресненной морской воды у него заболели почки и врачи списали на берег. Почки он уже вылечил. Камни вышли. И Сергей снова бредит морем. И вернется в тралфлот. Обязательно вернется. Но прежде поборется с Пал Палычем. Нет таким чинушам и бюрократам места среди рабочего люда, гнать их надо с треском, рвать с корнями как чертополох или ставить на свое место. На одну силу, злую, темную есть другая сила, добрая и светоносная. Побеждает по земным законам вторая.

От этих "ледяных" воспоминаний на душе у Сергея стало еще холоднее, и он начал вспоминать лазурные воды Атлантического океана у берегов Африки, палящее солнце над головой, полнейший штиль или теплые пассатные дожди, под которыми стоишь на палубе словно в ванной под душем. Вспомнил он и роскошные заросли вечнозеленых деревьев и кустарников в портах Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. От этих воспоминаний на душе у него потеплело, словно он не шагал по зимнику, а сидел на палубе "Ковдора", подставив палящим лучам голую спину, и чувствуя, как солнечные лучи горячими пальцами прокусывают кожу.

Слева от зимника, в болотинке, в перемерзших осоках вспорхнула тундрянка. Сергей сразу же насторожился, стал пристально всматриваться в белесый мрак.

"Испугалась кого-то, подумал он с тревогой, – кто-то потревожил и испугнул тундровую куропатку. Зря так всполохливо она не взлетела бы". И, пристально взглядевшись в убегающий вдаль зимник, Сергей заметил метрах в ста от себя мятущегося по дороге зверя. Он проделывал какие-то странные виражи, метался то вправо, то влево, но навстречу Сергею не бежал. Сергей остановился, снял с правой руки рукавицу, сунул ее в карман, вынул из чехла нож и шагнул навстречу зверю.

"Росомаха. Огромная. Чуть поменьше медведя, – мелькнуло в сознании, – будет схватка. Смертельная. Или я, или она..."

На востоке низкое небо начало заметно сереть. Там, на Большой Земле всходило солнце и занимался новый день. Здесь же, в заполярье, темный свод небес чуть-чуть просветлился и снова померк. Эта мысль мелькнула в голове Сергея, и он подумал: "Новый день. А не последний ли он для меня?"

Не дойдя до росомахи метров пять, Сергей остановился. Остановилась и росомаха. Человек и зверь с минуту стояли один против другого, готовые каждую секунду броситься друг на друга в смертельном броске. Стояли и смотрели один другому в глаза. Круглые зеленые глаза росомахи горели недобрым угрожающим огнем. Сергей чувствовал, что рука с ножом замерзает. Еще несколько секунд молчаливого поединка и он погиб – нож выпадет из руки. Страх, того животного страха, присущего всему живому и который испытывает человек перед смертельной опасностью, у Сергея совершенно не было. Он чувствовал это каким-то подсознанием. Если бы у него появился страх, то цела его были бы плохи. Он наоборот чувствовал в себе тайное сознание своего превосходства. своего могущества перед этим хищным и коварным зверем, властелином тундры. Сергей видел во взгляде хищника, что сейчас, в это мгновение, в эти секунды поединка с человеком он не чувствовал себя властелином. В глазах зверя мелькнул страх. Это Сергея безумно обрадовало, и он с готовностью ждал броска. В следующую секунду ему пришла мысль первому сделать этот бросок на зверя. Он шагнул шаг вперед и изогнулся, готовясь к броску. Росомаха сделала шаг назад и тоже замерла, напружинилась. прошла еще секунда. Сергей сделал еще один шаг. И вдруг еще раз пристально и совсем уже не зло зверь взглянул в спокойные и твердые глаза человека, сделал стремительный бросок в сторону от зимняка, потрусил легкой рысцой и вскоре скрылся в темени. Сергей во всю силу своей глотки прокричал вдогонку.

– Чао, росомаха! Чао!

И сам поразился этому своему крику. Он не только не употреблял никогда в своей речи, не любил, он глубоко презирал это словно из лексикона людей другого мира, другой жизни, людей, с которыми он никогда не общался да и желания к этому никогда не испытывал. Он глубоко презирал этих людей. Так, вероятно, уходя на работу в свой институт, говорит сей час своей молодой жене бывший муж Зины, обидевший, осквернивший чистую душу, оскорбивший большую любовь: "Чао, Меэри!" или "Чао, Кэтти!" А тут вдруг сам, не понимая почему произнес его, прокричал вслед удаляющейся росомахе. Прокричал громко и торжественно, с нескрываемой, распирающей все его существо радостью это, на его взгляд дурное и вульгарное слово. Определенные слои нашего общества привыкли почему-то как обезьяны перенимать все чужое, чао – итальянское приветствие и прощание, а у нас есть свои слова, русские. Но здесь в заполярной тундре в шестидесяти- градусный мороз и декабрьский мрак слово это приобрело для Сергея совершенно иной смысл, несло в себе иную, более емкую и более глубокую мысль, а мысль не приходит сама по себе, она всегда рождается, вытекает из душевного состояния человека, рождается чувством.

Чао! чао, росомаха! – еще раз весело прокричал он.

И это здесь, в эти минуты его торжества и радости, переполнившей все его существо, пьянящей радости победы означало: "Будь здорова, росомаха Живи и здравствуй, росомаха! Я счастлив, что не обагрив свои рабочие руки твоей горячей кровью. Заполярная тундра велика, необъятна, и делить нам с тобой тут нечего, всем хватит и мрака, и мороза, и шквальных ветров. Будем жить в дружбе, росомаха. Я по-своему люблю тебя, росомаха. Только не забывай никогда, росомаха, что человек, пришедший в тундру, сильнее тебя. Хозяйка тут теперь не ты, а Пал Палыч. А там, где пройдут хищные пал палычи, росомаха, остается не тундра, а мертвая земля" Так что прощай, росомаха, и вспомнив ненцев, подумал: "Чудной народ. Наивные как дети малые. А в глазах боль. Боль оттого, что буровые вышки и скважины гонят их все дальше и дальше с родных прадедовских мест и скоро прижмут к Ледовитому океану, испаскудили, испоганили их родную землю..."

И подумав так, он зашагал еще быстрее. Часов через пять Сергея подобрал лесовоз "Урал". Из пятой мехколонны. Водитель лесовоза молодой белобрысый паренек посмотрел на Сергея с изумлением.

– Думал, что поблазнилось, а тут и вправду человек. Садись, снимай рюкзак, грейся. У меня тепло. Откуда шел?

– Из Ямбурга.

– И все время один?

– Один.

– О-го-го! А куда путь держишь?

– Сейчас в Уренгой, а дальше в Челябинск.

– Елки-палки! Дак мы же земляки с тобой, выходит. Я тоже оттуда.

– Вот и здорово. Подкинешь, землячок, до Уренгоя, а то уже ноги отвалились.

– Запросто подкинем. Да ты расстегнись. Родом из Челябинска?

– Ну.

– Оно и видно. Я же сразу признал земляка. А ведь ты, друг, со смертью играл.

– Зато с росмахой подружился навеки.

Сергей рассказал вкратце о встрече на зимнике.

– Ну и ну. Узнаю земляков. А все же ты, землячок, играл со смертью.

– Иногда бывает полезно поиграть со смертью, чтобы она тоже побаивалась.

– Чо? Чтобы смерть побаивалась? Ну, тут ты хватил лишнее. Смерть, она никого не боится. А? – осмотрел на странного пассажира, но тот, не ловко откинув голову в угол кабины, спал мертвым сном. – Умаялся бедолага

Вскоре в темряве замелькали редкие желтые огоньки Уренгоя.

ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБЕД

– Полноте, добрейший и любезнейший друг мой Василий Петрович, убиваться и впадать в отчаяние, – говорила своему зятю Василию Петровичу Ивашову его теща Мария Петровна, поднося к морщинистым глазам тонкий батистовый платок, мокрый от слез. – Незабвенная наша Камилочка была не только женщиной редчайшей и ярчайшей красоты и обаяния, она как истинная христианка была полна добродетели и кротости. А Бог добродетельных и милосердных к ближнему любит. Ее уже не вернешь и полноте убиваться. Пожалейте себя и ваших малых деток.

– Год уже минул, а душа скорбит и нет мне ни в чем утешения, любезная Мария Петровна. Посмотрю на несчастных сироток и сердце кровью обливается и мутится рассудок.

– Все мы смертны. Не надо гневить Бога. Устроим в день ее кончины поминальный обед, отслужим в церкви панихиду, душа облегчится.

– Все истинно так, матушка, но солнце для меня, поверьте, погасло навсегда. Он оно светит, повиснув над горой, маленькое, лохматое, колючее, а свет его до души моей не доходит, черная ночь, матушка, в душе моей и не вижу я просвета.

Этот разговор полушепотом происходил около двух часов пополудни двадцать седьмого декабря 1840 года между Василием Петровичем Ивашовым и его тещей Марией Петровной, приехавшей к опальной дочери, жене декабриста, на место новой ссылки в городок Туринск в феврале минувшего года, за десять месяцев до ее кончины.

В Туринске трещали лютые рождественские морозы. Окна в маленьком домике Ивашовых были покрыты толстым слоем льда и разрисованы замысловатыми узорами. подсвеченные лучами негреющего солнца, они заливали комнату причудливым бриллиантовым сиянием. Короткий тусклый зимний день умирал. Не успело как следует ободнеть и уже сгущалась вечеровая сутемь. Над землей, погружающейся в раннюю жидкую тьму сумерки дрожали и переливались как неумело сваренный ленивой хозяйкой студень. переливались Окна как бельма затягивала снежная суволока. Разгуливалась метелица. Мороз крепчал. Толстые бревна стен потрескивали, лопаясь. Подгоняемая и сдуваемая на бок ветром косо пролетела стая галок.

– Мария Петровна, – ласково обращаясь к теще, сказал Ивашов, – позовите ко мне Федора. надо дать кое-какие распоряжения.

– Сейчас, батюшка, придет.

Проводив тещу, Василий Петрович сел в кресло и глубоко задумался, печально провожая угасающую зарю. Зашел Федор, молодой широкоплечий мужик с пушистой русой бородкой, добрыми страдальческими глазами, снял истертую шапку, по привычке низко поклонился в пояс.

– Слушаю, ваше превосходительство.

– Федор, сколько раз я буду толковать тебе о том, что кланяться ни мне, ни Марии Петровне нельзя.

– Виноваты, ваше превосходительство.

– И не смейте меня больше называть превосходительством. А запрещаю вам делать это. Я политический ссыльный Василий Петрович, бывший каторжник. понятно?

– Как не понять? Для кого-то вы ссыльный и каторжник, а для меня – барин.

Крепостной Ивашова Федор добровольно вызвался сопровождать своего барина в далекую ссылку и служил ему верой и правдой, как в прежне годы, когда барин был блестящим гвардейским офицером, близким ко двору, а он, Федор, был его денщиком.

– Слушаюсь, барин.

– Опять барин? – вспыхнул Ивашов.

– Слушаюсь, батюшка Василий Петрович.

– Распорядись и проследи, чтобы к тридцатому декабря была хорошо натоплена кладбищенская церковь. дров не жалеи. Топите всякий день. Справим панихиду по незабвенной Камиле Петровне.

На глаза его навернулись слезы, он торопливо смахнул их рукавом.

– И завтра же займись заготовкой провизии для поминального обеда, помянем Камиллу Петровну. Чтобы всего было вдоволь. Не забудь побольше заготовить лучших вин, какие можно добыть в этом гиблом краю. Если не сможешь раздобыть тут, пошли нарочного в Тобольск. Купи сколько надо птицы, мяса. Желательно бы раздобыть и фруктов, хотя и сушеных: изюму, урюку. у, да ты сам знаешь, что надобно приготовить на поминальный обед.

– Слушаюсь, бар... батюшка Василий Петрович.

– Ступай.

Проводив Федора и отдав все распоряжения по дому, Василий Петрович попросил зажечь все свечи, сел в кресло и вновь ушел в себя. По его спокойному лицу в неверном колеблющемся свете свеч проплывали время от времени хмурые тени.

Лет пятнадцать назад Камилла Петровна ослепляла высший свет своей божественной красотой и считалась одной из первых петербургских красавиц. Стройная и гибкая как дочь Египта, с изумительной эллинской красоты лицом, пышными, закрученными в локоны волосами, легкая и грациозная как истинная парижанка, она была кумиром великосветских балов необыкновенная красота и грация Камиллы, появившейся вместе с матерью Марией Петровной Ледантю на великосветских балах с первых же дней сделала ее звездой высшего света. Все, знавшие ее, пророчили ей долгую и безбедную жизнь. на ее изящной фигурке подолгу оставливал свой холодно-пристальный взгляд сам наследник русского престола великий князь Николай, вскоре став императором, изломавший всю ее жизнь. Все пророчили ей счастье в замужестве и детях. Они не ошиблись. Замуж вышла Камилла по любви. муже и детях она нашла и счастье, и материнскую боль, и вечную печаль. шестилетняя Машенька во всем повторяла ее, росла здоровой и резвой, а вот трехгодичный Петенька не мог двигаться. И это убивало мать. Верочка, младшая, слава Богу, уже ползала. А счастья не было с самого начала их супружества. Как женщина сверхдобродетельная и истинная христианка, она покорно и безропотно понесла после двадцать пятого декабря свой нелегкий крест, разделив печальную судьбу декабристок.

Самое страшное, казалось, осталось уже позади. Отбывший каторгу и сосланный на поселение в глухой северно-уральский городок Туринск, Ивашов построил новый дом. Переселился к нему, заняв две просторных комнаты и самый близкий друг Иван Иванович Пущин, рядом жил с семьей Басаргин, недалеко, в Тобольске было много друзей. И веселее стал смотреть небольшими оконцами этот новый дом со взлобчка на съездившийся мрачный Туринск. Жили одной семьей, деля между собою и короткие радости и долгие зимние туринские ночи печали, утраты и тревоги.

Умерла Камилла Петровна внезапно, в полном расцвете своей неземной красоты, проболев всего десять дней. Доктор признал нервическую горячку. Укрепившись причащением святых тайн, она со спокойной душой утешала на смертном одре мужа и шестидесятилетнюю мать, благословила детей, простилась с друзьями и покорно и светло навеки смежила свои прекрасные очи с пушистыми и пугливыми ресницами. второго января 1840 года ее похоронили на старом туринском кладбище.

"Она и в гробу была потрясающе прекрасна, – думал Василий Петрович, смахивая слезы. – И вот через три дня исполнится год, как ее нет с нами, нет нашей светлой цветущей розы, источающей вокруг себя свет доброты, обаяния и красоты. Уже год, боже, боже..."

И Василий Петрович вспомнил в который раз как покорно и безропотно испустила жена свой последний вздох на руках у Ивана Ивановича Пущина... И еще вспомнил он один случай

на балу. Камилла, накружившись в кадрили, сидела, покрасневшая и опахивала себя веером. Веер вдруг выпал из ее рук, Василий Петрович элегантно изогнулся, поднял веер и подал его Камилле. Она взглянула на него таким благодарным и лучезарным взглядом, который до сих пор стоит у него перед глазами.

Ивашов тяжело вздохнул и поднялся с кресла.

– Ах, Камилла, Камилла...

Он был невозмутимо спокоен. подошел к окну, посмотрел в заснеженную мгу. В домах один за другим гасли желтые огоньки. В Туринске спать ложатся рано. Стенные часы показывали без четверти семь. Отдав все приказания по дому, он прошел в детскую. долго и сострадательно смотрел на спящих детей. Разметавшаяся в постельке жарко натопленной комнаты Машенька и розовыми щечками и носиком, и рассыпавшимися прядями льняных волос, и красивым разлетом бровей сильно напоминала Камиллу в ту золотую пору, когда он впервые блестящим гвардейским офицером увидел ее юной, шестнадцатилетней на том памятном балу, подавая ей веер. Сердце его больно кольнуло. От Машеньки он шагнул к кровати Пети и Верочки. Он перекрестил спящих детей и благословил их.

– Господь вас благословит, несчастные мои сиротки.

Простившись с детьми, он прошел к Марии Петровне. Старушка стояла перед киотом и молилась.

– Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззакония наша, Святый, посети и исцели немощи наша, имени твоего ради...

Василий Петрович подождал пока она закончит вечернюю молитву на сон грядущий и, прощаясь с ней, сказал как бы между прочим.

– Что-то у меня, матушка Мария Петровна, начал сильно побаливать левый бок.

– Это худо, батюшка, не лишне бы было послать за доктором, ночь-то здешняя – год.

– А, пустяки, – отмахнулся он, – поболит, да и перестанет.

– Может велеть скипидарчиком натереть?

– Успокойтесь, матушка Мария Петровна. Спите, благословясь. Утро вечера мудренее.

И по привычке благоговейно поцеловал ее худую морщинистую руку.

– Спите, родимая. Бог с вами.

Поднявшись наверх, он все-таки вызвал Федора и послал его за доктором.

– Сходи, Федор, к доктору, потревожь его, скажи, что у Василия Петровича странно как-то левый бок начал болеть. Запомни, левый бок.

– Как не запомнить, батюшка, все будет исполнено в точности. Сей минут.

И успокоившись, Василий Петрович разделся и лег в постель. Через полчаса пришел Карл Карлович, тучный, страдающий одышкой, в закуржженных бакенбардах. Счистил ледяные сосульки с усов и бороды, привычно

кашлянул.

– Ну-с, батенька, что с вами приключилось? На что жалуетесь?

– Бок левый заболел как-то непривычно. Приступами.

– Так, так. Сейчас будем посмотреть немного.

Карл Карлович погрел руки о лоснящиеся бока голландки, взял бережно руку больного, нащупал пульс. Рука Василия Петровича была холодной как кусок льда и пульс очень высок.

– Да-с, любезный, дела не ошчень караши. Никс гут.

Он быстро прошел в прихожую, где оставил свой саквояж, взял ланцет, собираясь пустить больному кровь. В минуту его отсутствия Ивашов приподнялся на постели, спустил с кровати посиневшие ноги и рухнул на пол без чувств. Федор, который был тут же и готовил с горничной бинт для кровопускания, не успели подбежать к нему и поддержать, так все произошло мгновенно. Доктор пустил кровь. Она не пошла. Начали растирать его, качать. Все оказалось

беспольным: Ивашов не приходил в сознание. В доме начался переполох. Прибежал взволнованный Николай Васильевич Басаргин, скинул в передней шубу, кинулся к больному.

– Ивашов, что с тобой?

Ответа не последовало.

Оглядев растерянно сначала наполненную людьми комнату, тут были доктор, Федор, Мария Петровна, Прасковья Егоровна, внимательно осмотрел Василия Петровича, так и не приходящего в сознание. Вся левая сторона и грудь друга были покрыты сине-багровыми пятнами.

– Майн гот! майн гот! – лепетал плачущий Карл Карлович, – только совсем мало, минут назад он был совсем здоровый мужчина. Цветущий здоровья. Совсем мало минут назад он говорил со мной. Жаловался левый бок.

– Он мертв, – тихо сказал Басаргин. – Василия Петровича Ивашова больше в этом мире не существует. Какой ужас! В один год две смерти. Это апоплексический удар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.